



МИХАИЛ САФОНОВ

«ВСЯ ЖИЗНЬ МОЯ – РИФМОВАННЫЙ ДНЕВНИК...»

* * *

Между красной и зелёной,
между Марсом и Венерой
мчится шарик наш кручёный
с опалённой литосферой.
А на нём подруг целуют.
Нежат жён. Детей ласкают.
В трубы трубят. Маршируют.
Бьют врага. И умирают.
Как пылинка на пластинке,
кружит крошечная точка
в галактической глубинке
до конечного виточка.
Остывая с каждой эрой,
мчит по горнему безмолвью
между Марсом и Венерой,
между кровью и любовью.

* * *

Елене Скульской

Отринуть всё!
По лестнице сбежать
и улыбаться заспанным прохожим,
и дню, мгновенно ставшему погожим.
Отринуть всё.
Какая благодать!
Так что ж ты медлишь?
Ну, давай, лети!
Пересчитай по-новому ступени,
безжильный день
по имени осенний
в неистовый, весенний обрати.
Нам кровь от крови
эта власть дана –
менять календари и имена.

ЛЮБЛЮ АПРЕЛЬ!

Люблю апрель!
И руку протяну
тому,
кто на него хоть чуть походит.
Кто мельницы в шальных ручьях
заводит,
кто рушит лёд,
кто до рассвета бродит
и пьёт взахлёб
студёную весну!

Кто гнёзда вьёт,
кто правит первый плуг,
над пряным чернозёмом
занесённый.
Люблю апрель –
зелёные знамёна.
И над землёй
навек сотворённый
любви и солнца
незакатный круг!

* * *

В организованном порядке
свезли нас
к черту на рога.
Здесь будет город.
А пока...
пурга,
тайга,
опять пурга.
Ужасно серые палатки
и очень белые снега.
Мы пихты мёрзлые
валили,
стелили гати тракторам,
потом артельный чай

варили
с пихтовой крошкой пополам.
Мы здесь
не спорили о Блоке –
велик он
или не велик.
Мы пили чай,
и пили водку,
и разговор за жизнь
вели.
Здесь никогда не знали Ницше,
как будто Ницше
и не жил.
Здесь все ребята
были с «низшим»,
лишь я, как мастер,
с «высшим» был.
Они о сложном,
как о деле,
вели достойный разговор,
так просто,
словно песню пели,
знакомую им с давних пор.
У них,
бесхитростных и чистых,
не знавших ржавчины нитья,
я словно заново
учился
суровой правде
бытия.
В дыму прогорклом
и прокисшем
я самой трезвой жизнью
жил...
Здесь все ребята
были с «ВЫСШИМ»,
лишь я один
здесь с «низшим» был.

ТОСТ

Давайте за весёлых Мастеров!
Они свои обиды не считали.
Они в богинь подружек обращали
и брали в собутельники богов.

Насмешники. Лукавцы. Остряки!
Язвили так, что времена немели.
От шуток их трясло материки.
Короны корчились...
Но как они умели

любить наш мир – наивный, молодой,
неопытный (а оттого и глупый).
Любить! А не испытывать под лупой.
Не соблазнять, а радовать строкой!

ПОЛЕ-ПОЛЮШКО

Художнику Борису Шатохину

Пятый год поля не паханы...
Пропадай земля в жиру!
Загуляли наши пахари
на неслыханном пиру.
Там не вина –
алу кровушку
льёт зари калёный нож.
Пей досыта,
поле-полюшко!
Пей, да помни,
что ты пьёшь!
Оттого тебя не холят
и не ходят за тобой,
что за землю
да за волю
встали пахари на бой.
Встали тульские,
рязанские,
от Ростова,
от Ельца.
За германскою –
гражданская ...
а гражданской
нет конца.
Покатилось лето пятое
забубённой головой,
ходят кругом
травы пьяные,
пьян от крови
шар земной.
И кружится поле-полюшко,
валит с ног зелёный хмель,
так и клонится головушка
на полынную постель.
От восхода
до заката,
на виду у всей земли,
тихо падают ребята
в голубые ковыли.
Злые кони ржут со страху,
громко пахарей зовут...
Спят ребята... На рубахах
маки жаркие цветут.
И, не веря в холод смерти,
вороной рванёт узду,
и клинок устало чертит
в чистом поле борозду...

* * *

Когда нам тяжело,
идём мы к людям,
которых и не ценим,
и не любим,
которым мы киваем
на ходу,
которых навещаем
раз в году.
Но люди
ничего не замечают,
они встречают,
чаем угощают,
подсовывают нам
альбом семейный,
заводят с нами
разговор шутейный.
И в этом
неприметном разговоре,
как сахар
в чае,
тает
наше горе.
И если бы потом
нас вдруг спросили:
– Скажите, где вы
в это время были?
То мы,
пожав плечами невзначай,
сказали б:
– У знакомых.
Пили чай...

* * *

Придёт пора сводить итоги,
гасить последнюю зарю –
я заплету конец дороги
в седую гриву январю.

Пускай умчит, завьёт, закружит...
Но хлынет запредельный свет
и кто-то дальний обнаружит
в своих снегах мой слабый след.

Он, любопытствуя, развяжет
узлы концовок и начал
и тихим голосом расскажет,
о чём я плакал и молчал.

ЯНВАРЬ. 1837 ГОД

Уже недолго до рассвета,
а Натали всё нет и нет.
Опять меж строк
перо поэта
упорно чертит
пистолет.
Ещё куют подковы тройке,
что увезёт его тайком,
и льдом задавленная Мойка
спит, как Россия,
долгим сном.
Вставал
и, не найдя покоя,
глядел на огоньки вдали,
и гладил смуглою рукою
цветные склянки
Натали.
Что ждал он?
Подтвержденье?
Повод?
Но чу!..
Полозьев лёгкий скрип.
Увы!
Чертовски чёрный полог
не выдаёт того,
кто скрыт.
Считал, как по ступеням быстро
стучит лионский каблучок.
И двери хлопали,
как выстрел.
И пар взвивался,
как дымок.
На кресла падали устало
меха с холодного плеча,
и шалью пламенем плясала
в шандале талая свеча.
О чём он в ту минуту думал?
О чём молчал,
на всё готов?
В глаза смотрел
и видел
дула
двух настороженных зрачков.
Ужель они ему лукавят?
И отчего дрожат слегка?
Как будто пистолет
играет
в руке бездарного стрелка.
Стрелку тому
он знает цену,
не оберёшься с ним хлопот:

так долго целит,
в сердце целит
и бьёт без промаха
в живот.

...Встаёт рассвет
немой предтечей.
Свечей ненужных гибнет свет.
И далеко
за Чёрной Речкой
безвинный
голубеет снег.

* * *

Кого теперь пожалует судьба?
Кому дарует царственное право
шагнуть и встать у чёрного столба,
у чёртова, истёртого столба –
И выстоять, не сетуя лукаво,
не кланяясь налево и направо,
не преклоня праведного лба.
И нету на Руси превыше славы,
чем выстоять у чёрного столба.

* * *

Не то вблизи, не то вдали,
но перспективу съела серость,
косых домов закаменелость
висит от неба до земли.
Но перспективу съела серость...
слова из праведной статьи,
слова из речи нарсудьи!
Но как хотелось, так не спелось.
Асфальт разьежен под ногой –
посул слепого поднебесья.
Не помогает равновесью
песок солёный, завозной.
Кошачий снег. Гриппозный день.
Кто дал нам днесь такую сырость?
Кто выписал, скажи на милость,
зиме бессрочный бюллетень?
Лишь золочёные шары
на размелованной витрине
напоминают, что отныне
канун Рождественской поры.
Предновогодья кутерьма...
Стоп, рифма, не туда ты клонишь.
Я про зиму, ты – про Воронеж.
И там зима, и тут зима.
Тут золочёные шары
и убелённые витрины...
Там злого сердца именины.
И там исток моей хандры.

* * *

Зачатый в страхе и родится в страхе.
Хоть до поры, пока не свистнут раки,
без перекура Мойры-тонкопряжи
на всю катушку нарядут моток,
застынет в сердце жгучий холодок.
Рождённый в страхе проплетётся в страхе,
в своей родной, смирительной рубахе
по жизни, словно по дубовой плахе,
достолюяльно вью волоча
и в каждом встречном чуя палача.
Проживший в страхе и загнётся в страхе.
И анодированные лже-бляхи,
и кровоточину на смужковой папаче
промчит аллюром внуков эскадрон,
которых в ночи страха зачал он.

* * *

А власть – она всегда слепой обман,
Одноколейны помыслы благие.
Чем образованней тиран,
тем безобразней тирания.
От умников да упаси нас, Боже.
Таланты их годны для ловли блох.
Руси, увы, Мессия не поможет.
Руси вполне сгодится царь-Горох.
А уж рожать Иванов-дураков
мы можем до скончания веков.

* * *

Арсению Тарковскому

Где ты бродишь, душа, дни и ночи?
Что ты ищешь? Скажи, не таись.
Почему ты усталые очи
устремляешь в небесную высь?
Чем прельстили надмирные дали?
Чем они приковали твой взгляд?
Там гигантские дышат спирали.
Там нейтронные сгустки шипят.
Неземные созвучья роятся.
Или ведом тебе их язык,
и в кромешном чаду радиации
различаешь их шёпот и крик?
И чарующий шорох Замлечья,
и сумбурную речь цефеид,
и с тобой на орлином наречье
голубой Альтаир говорит?
Или ты в безграничье багровом,
на Земле не найдя ни шиша,
ищешь, с кем перемолвиться словом?
Собеседника ищешь, душа?

НОЧЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ

Мимо серых колонн,
мимо жёлтых фасадов
круг за кругом хожу,
как попавший в засаду.

Очень тихо хожу.
Невозможнее – тише.
Так, что даже шагов
за спиною не слышу.

Вот и мне привелось
с глухотою спознаться.
Тут зови не зови –
никого не дозваться.

Вьётся лист городской,
Суетливый, поджарый,
по дворам продувным,
по щербатым бульварам,

ищет-рыщет, как бес,
завалиющую славу,
что слетала с ботфорт
Карла или Густава.

За стеною стена.
За бойницей бойница.
Лишь булыжник сырой
под ногой пузырится.

И мне жутко в тисках
перекрёстков ежовых.
Я брожу среди стен,
среди серых и жёлтых.

Я кружу по тебе,
как подбитая птица.
Мне на юг не лететь
и с тобой не сродниться...

Вдали от школ. Систем. И стаи.
Как зяблик на пустом суку,
на все лады перепеваю
свою славянскую тоску.
А ветер дерево качает
и бьёт, да плакать не велит.
А птица крылья расправляет
и на таком ветру взлетает,
и стаю за собой стремится.
Туда, куда порой студёной
над драным кумачом осин
плывёт и плачет исступлённо
за клином клин, за клином клин.
Чего я жду? Чего я медлю?

Б. П.

Давно пришёл черёд взлететь.
Увидеть голубую землю
и с высоты о ней запеть...

Что я делаю в этой стране,
где сосна сосны сторонится
и где каждая чайка ютится
на своём родовом валуне?
Родовые свои за спиной
я оставил. Как шалая птица
умудрился в краю приземлиться,
где дарует извечный покой.
Что я делаю в этом краю?
Век, отпущенный мне, доживаю.
Да судьбу, словно книжку, листаю.
Одиночества корку жую.
Жду, что вдруг посчастливится мне.
Где-нибудь на тропинке неторной
отыщу я свой камушек скорбный
в этой камнеобильной стране.

Стал недолгим долгий путь.
Размочалилась уздечка.
Дай лошадке отдохнуть.
Под горой синее речка.
На песке старик седой
возле лодки копошится.
Машет радостно рукой.
Приглашает прокатиться.
Влез я в лодку. Мой гребец
шевелит веслом смолёным.
– Как тебя зовут, отец?
– Да зови, как все, Хароном.
Вот и кончен дольный путь
озорного человечка.
Эх! Успеть судьбе шепнуть
на ушко хоть два словечка.
– Утром напои коня.
Утром не буди меня.

Вся жизнь моя – рифмованный дневник.
Кривые, неразборчивые строчки,
прерывистые, беглые цепочки...
Мой враг, мой крест, мой камень, мой двойник.
Когда душа лишится оболочки,
она над всеми «i» поставит точки
и соберёт обрывки в чистовик.

И унесёт неведомо куда.
Неведомо кому его покажет.
Неведомый прочтёт и что-то скажет...
Но что... Я не узнаю никогда.